

НЕРОН

Часть первая

ГЛАВА I

Три солдата римской городской префектуры вели по Кипрской улице пленника. Молодому человеку двадцати трех лет был вынесен смертный приговор: рука палача должна была обезглавить его, а затем закопать на выгоне, где погребали преступников.

Прохожие, встречавшие конвоиров и их жертву, останавливались и смотрели им вслед. Бледное, но, однако, решительное лицо несчастного возбуждало участие к нему даже в легкомысленных римлянах. Казалось, внезапное сострадание овладело этим народом, на глазах которых каждый год тысячи гладиаторов истекали кровью и умирали на арене цирка и который считал лучшей на свете музыкой предсмертные хрипы жертв. Женщины особенно сокрушались о красивом Артемидоре. Правильные, словно высеченные из мрамора черты лица, темные, мечтательные глаза с черными ресницами, благородный лоб и роскошные волосы — все в нем напоминало величавого Нехо, жреца бога Пта, очаровывавшего знатных римлянок как своим прорицательским искусством, так и своей привлекательной наружностью.

Артемидор был также уроженец Востока. Он родился в далеком Дамаске, был куплен в Иерусалиме сенатором Флавием Сцевином и вместе с ним прибыл в семихолмный город. Скоро получив свободу, он служил своему бывшему господину казначеем, чтецом и библиотекарем и сделался уже почти его доверенным во всем, когда внезапно неожиданный переворот разрушил мирное течение его жизни и бросил его во власть ищеек.

Чем ближе становилась плаха, к которой солдаты вели юношу, тем медленнее и тяжелее двигался он, и начальник конвоя должен был не

раз обращаться к нему со строгими упреками.

Был чудный октябрьский день. Рим казался плавающим в жидком золоте. Красная листва винограда, с видневшимися из-под нее темными гроздьями, одевала стены садов или вилась вокруг развесистых вязов. Улицы дышали весельем и свежестью. Мужчины, приободрясь, расправляли плечи, а женские лица сияли особенной красотой и привлекательностью.

Так, по крайней мере, казалось бедному осужденному, который скоро должен был расстаться с этим прекрасным миром.

Куда девалось его равнодушие к смерти, еще так недавно наполнявшее его сердце, подобно предвкушению лучшего, недоступного человеку бытия?

Взглянув на колеблющиеся от ветерка пурпурные лозы, он вспомнил красивую девушку, стыдливо зардевшуюся, когда однажды он украшал ее таким венком в блаженном уединении тенистого парка, принадлежавшего его господину.

— Хлорис! Хлорис! — со страстной мукой вздохнул он.

Какое несчастье, что образ возлюбленной предстал перед ним как раз в то мгновение, когда он нуждался в непреодолимой силе духа и презрении к жизни, чтобы показать, с какой радостью и светлой надеждой последователь Сына назарянского плотника идет по стопам своего Спасителя.

Как ни старался он забыть о прошлом, оно вставало перед ним во всем блеске минувшего счастья.

Он увидел Хлорис лишь несколько недель тому назад в доме Кая Кальпурния Пизо, где она играла на девятиструнной гитаре и пела радостную любовную песнь Алкея. Это было ее первое появление в полной опасной соблазнов столице и, в то же время, ее первый триумф. Все рукоплескали ее мастерской игре и чудному голосу.

Находившийся в свите своего господина, Флавия Сцевина, Артемидор был очарован и с этого мига мысль о ее любви не покидала его.

Но рядом с этой мыслью, у него возникла другая, более возвышенная: спасение ее души! После незабвенного мгновения, когда он впервые поцеловал ее уста, в нем возгорелось страстное желание спасти погибавшую. В глазах верующего юноши она должна была погибнуть, если ему не удастся просветить ее небесной истиной,

открытой Иисусом Христом.

И Артемидор с таким же рвением старался овладеть ее душой, с каким он раньше добивался ее сердца.

К сожалению, его усилия были напрасны.

Хлорис знала жизнь только с ее лучшей стороны. Мир представлялся ей душистым увеселительным садом, предназначенным исключительно для счастья и наслаждений. Верная своей природе, гречанка пугалась всего сурового и мрачного; учение Христа, требовавшее воздержания, отречения от земных благ, было недоступно ей, проникнутой лучезарным культом древнегреческих богов. Прекрасная певица пожимала плечами, улыбалась, наконец объявила Артемидору, что он ей надоел и, после долгого неприятного спора, на все его доводы решительно произнесла с насмешкой: «Никогда!»

После этого «никогда», он в гневе оставил возлюбленную. Гнев его был направлен не на нее,— ведь она не повинна в том, что злой дух так опутал ее безрассудное сердце,— но на коварство старых богов, сохранивших еще такую власть даже над самыми чистыми и благороднейшими из смертных, несмотря на пришествие Спасителя.

Вот что было причиной его осуждения на позорную смерть: обвинение в хуле на государственную религию...

Но быть может, постигшее его несчастье было наказанием, ниспосланным на него единым истинным Богом? Быть может, Он хотел уничтожить его за упорство в любви к насмешливой Хлорис?

Все эти мысли беспорядочно толпились в его мозгу и, задыхаясь, он боролся с охватившими его чувствами. Он попытался молиться.

— Блаженны гибнущие за учение Христа,— дрожащими губами прошептал он и замолк.

Солнечные лучи золотым потоком заливали дорогу, в лицо ему пахнул благоуханный ветерок и, громче всяких спасительных истин, в замиравшем от страха сердце его раздался вопль:

— Горе твоей цветущей юности!

Сияющая вокруг него теплом и жизнью природа еще сильнее обостряла сознание грядущей участью.

«Умереть так, вдали от нее!..— непрерывно проносилось в его пылающей голове.— Вдали от нее, вдали от нее!..

Да, неумолимое Божество осудило его на величайшую из земных мук — глубокое отчаяние. Если бы он мог взглянуть в последнюю

минуту в глаза возлюбленной, какое это было бы утешение! Но умереть так,— значило умереть еще заживо!

«Вдали от нее! — звучало кругом него.— Вдали от нее!» Колени его подкосились и в глазах потемнело.

— Не шатайся! — сказал начальник конвоя.— Если уж ты должен умереть, то умри как мужчина!

Артемидор взял себя в руки. Слабость его прошла. Он перевел дух и спокойно и твердо пошел дальше.

Конвой свернул влево, по юго-восточному направлению от Кипрской улицы, и здесь их окружила такая густая толпа мужчин и женщин, по большей части бедно одетых, что стражники вынуждены были остановиться на несколько минут.

— Артемидор! — со всех сторон раздались голоса.— Будь тверд, Артемидор! Прощай, Артемидор! Не забывай твоих друзей! Молись за нас перед престолом Всевышнего!

Иные хватали связанные руки юноши и целовали их, другие торжественно затягивали жалобные гимны, в которых имя Иисус произносилось с особенным чувством.

Сквозь толпу протеснился высокий и худой пятидесятилетний человек, широкое, блестящее золотое кольцо которого выдавало его принадлежность к благородному сословию.

— Позволишь ли ты мне,— обратился он к старшему конвойному,— прежде чем свершится судьба, еще раз обнять осужденного?

Солдат нахмурился. Такое множество сочувствующих Артемидору, очевидно, внушило ему некоторое сомнение, и он не осмеливался грубо отказать этому мрачному человеку с величаво и грозно закинутой за плечо тогой.

— Поторопись! — нерешительно отвечал он.— Хоть я сотворен не из камня и железа, но если префект узнает об этом, мне будет худо.

— Никодим! — прошептал Артемидор, в то время как друг целовал его в лоб.— Какая страшная участь!

— Мужайся, сын мой! Будь тверд до конца! Твой поступок, может быть, безрассуден и опрометчив, но он тем не менее благороден. Счастливая юность не знает, что спокойная рассудительность ведет к цели гораздо вернее, нежели гнев и увлечение!

— Ты прав,— отвечал Артемидор.— Вы все смотрели в будущее с такими радостными надеждами, что, быть может, мне, как одному из

младших, не подобало это... Но Хлорис, заслуживающая ненависти, возлюбленная Хлорис всему виной с ее ужасным неверием. Я почти лишился рассудка. Все мои убеждения были тщетны! И когда, возвращаясь от нее, я увидел в атриуме отвратительных идиолов с их насмешливыми улыбками...

— Молчи! Ты бездумно раздражал римское общество. Здесь никого не оскорбляют за веру. Мы можем и будем тихо и осторожно следовать по пути, ясному для последователей Евангелия. Только без бурь, без насилия! И ты, дорогой Артемидор, был бы участником с таким трудом составленного мной союза. Я не могу утешиться, теряя тебя.

Юноша выпрямился.

— Как? Ты сожалеешь обо мне? Но разве это не высшая божественная милость — победоносно умереть за учение Назарянина?

— Твой пример не пройдет бесследно, Артемидор,— успокоительно прошептал Никодим.— Но ты мог бы жить, жить...

Слова Никодима были прерваны внезапным смятением среди народа.

— Император! — раздались тысячи голосов, и все взоры обратились по направлению Porta Querquetulana, откуда медленно приближались роскошные носилки с пурпуровым балдахинном. Их несли на шестах из позолоченного кедрового дерева шестеро рослых, белокурых сигамбров в ярко-красных одеждах.

Широкие занавеси были отдернуты. На подушках восседала гордая, величественная женщина — Агриппина, мать императора, а возле нее юноша поразительной красоты, с большими, мечтательными глазами и полным, выразительным ртом.

Начальник конвоя вздрогнул, увидев его. Он знал, как неприятны были императору напоминания о всем том, что шло вразрез с его спокойным, ясным характером и в особенности, как его волновали суды и их жестокие последствия.

«Фаракс, ты попался! — сказал себе солдат.— Если префект узнает об этом, твоей спине придется испробовать лозы центуриона! Конечно, это только случайность, но слуга префекта расплачивается и за капризы судьбы...»

— Император! — вскричал Никодим.— Он пройдет в двух шагах от тебя! Проси помилования, Артемидор!

Толпа раздвинулась. Никодим схватил за руку молодую блондинку,

с глубоким состраданием смотревшую на осужденного. Девушка вопросительно взглянула на него. В уме Никодима, должно быть, пронеслась блестящая мысль, потому что лицо его озарилось неожиданной радостью, а почти торжествующее выражение губ, казалось, говорило: «Это удастся!»

Наклонившись к девушке, он быстро прошептал:

— Актэ, ты видишь! Само небо указывает нам путь! Если ты еще сомневалась в том, что план мой приятен Господу Иисусу Христу, то эта чудесная встреча должна убедить тебя. Слушай, чего я требую от тебя! По моему знаку ты выйдешь вперед, бросишься императору в ноги и спасешь отважного Артемидора!

— Я сделаю это! — отвечала Актэ.— Молись, чтобы цезарь внял мне!

— Надеюсь на это,— прошептал Никодим.— Только говори так же горячо и искренно, как ты чувствуешь! Ведь тебе жаль цветущей юности, которую безжалостно погубит топор палача?

Актэ молча вздохнула, пристально и робко смотрела она в пеструю толпу.

«Как она прекрасна и молода! — подумал взволнованный Никодим.— Другой такой нет в целом Риме... Это должно удался, непременно должно!»

— Да здравствует император! — раздавалось все ближе и ближе. К этим крикам теперь присоединились звучные голоса конвойных, римлян и большей части назарян.— Честь и слава императору! Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!

Император сделал знак своим сигамбрам, и носилки остановились. После бури приветственных криков, на которые Нерон отвечал приветливым движением руки, наступило полное безмолвие.

— Вот несчастный! — обратился он к Агриппине.— Позволишь ли, дорогая мать, спросить у солдат, какое его преступление?

— Делай, как желаешь,— отвечала императрица.— Властителю мира, несомненно, подобает вникать даже в мелочи, встречающиеся на его пути.

— Мелочи? — усмехнулся Нерон, смотря в глаза матери.— Человек в цепях; на его лице отразились страдание и отчаяние... Нет, дорогая мать, ты говоришь так не от сердца! Неужели достоинство императора требует такого же невнимания к несчастью его подданных, какое можно

оказать участи вот этой розы, падающей из твоих прекрасных волос?

И изящным жестом он поправил цветок, выскользнувший из-под блестящей диадемы, которая удерживала огненно-красное покрывало Агриппины.

— Кого ведете вы и в чем провинился он? — благосклонно продолжал Нерон, обращаясь к начальнику конвоя.

— Повелитель,— ответил солдат,— это отпущенник Флавия Сцевина.

— Как? Нашего друга, вечно юного сенатора?

— Его самого.

Нерон пристально посмотрел на юношу, стоявшего с опущенными глазами.

— В самом деле, я узнаю его... Это Артемидор, который однажды в парке развертывал перед нами рукописи Энния... Флавий Сцевин так расхваливал тебя, твои качества и ум. А теперь я не понимаю!

— Повелитель,— снова заговорил солдат,— он осужден законом. Один из рабов застал его поносящим домашних богов и затем свергнувшим их с цоколей.

— Артемидор,— обратился Нерон к юноше,— правда это?

Осужденный поднял свое прекрасное, бледное лицо с лучезарным взором.

— Да, повелитель,— твердо отвечал он.

— Знал ли ты,— со спокойной строгостью продолжал император,— что оскорбление домашней святыни наказуется смертью?

— Смертью, в смысле закона — да!

— Что же побудило тебя презреть этот закон?

— Любовь к истине.

— Каким образом?

— Ваши лары и пенаты ложные божества, я же верую в истинного Бога, о котором учил Иисус Христос.

— Ты назарянин?

— Да, повелитель!

— Это было известно твоему высокому покровителю Флавию Сцевину?

— Да, повелитель!

— Он преследовал тебя за это?

— Нет, повелитель.

— Так веруй во что ты хочешь и предоставь другим веровать во что они хотят. Согласен ты со справедливостью этого требования?

— Иисус Христос завещал нам распространять спасительное Учение и бороться против ложных богов.

— Пусть так! Борись — но только духом! Можно ли убеждать поднятыми кулаками? И разве брань — философский аргумент? Поистине ты заслужил твое наказание, Артемидор...

Лицо старшего конвойного выразило огорчение. Он был почти уверен, что Клавдий Нерон своей императорской властью отменит исполнение приговора. В этом случае лоза центуриона, естественно, должна была спокойно оставаться в шкафу. Вместо этого, против всякого ожидания, цезарь одобрял и находил заслуженной казнь, казавшуюся варварской и устарелой даже самому Фараксу и его товарищам! Дело принимало неприятный оборот.

Между тем, повинувшись знаку Никодима, из толпы стремительно выбежала Актэ и упала на колени перед носилками императора. С невыразимой грацией подняв цветущее личико к властителю мира, она воскликнула, вложив в свою мольбу все чары женского обаяния:

— Помилования, повелитель! Помилования моему брату!

Молодой император с изумлением и удовольствием смотрел на стройную фигуру девушки, устремившей на него страстно молящий взгляд. Сама императрица-мать не могла подавить мимолетного сочувствия к ней, и на суровом, гордом лице ее мелькнула мягкая улыбка.

— Я так и думал,— сказал тронутый император.— Тот, у кого есть такая прелестная сестра, может поступать дурно вследствие необдуманности или заблуждения, но не может быть дурным человеком.

Он забылся на несколько мгновений, наслаждаясь ее красотой, а потом, схватив руку Агриппины, заговорил с пафосом театрального актера:

— Третьего дня был день твоего рождения! Я обыскал всех ювелиров среди двух миллионов населения этого города, чтобы создать нечто, достойное тебя! Но нашел одну лишь эту жалкую диадему. Драгоценная сама по себе, она все-таки давит твою божественную голову подобно обручу из коринфского металла. Теперь судьба посылает мне высший дар! Во славу твоего дорогого имени,

возлюбленная мать, я пользуюсь своим правом освобождения и прощения.

Он приказал конвойным подвести осужденного к носилкам, между тем как Актэ удалилась, бросив на императора горящий, полный признательности взгляд.

— Ты слышал,— произнес Нерон,— я дарую тебе помилование! Отведите его обратно в дом Флавия Сцевина и передайте о происшедшем моему превосходному другу! Скажите, что я прошу его посадить преступника в заключение на восемь дней. Тебе же, юноша, советую быть благоразумнее и осторожнее! Повторяю: если римские боги кажутся тебе призраками, то поклоняйся Изиде или Гору, или кому знаешь, но обуздай твой невоздержный язык и не оскорбляй чувств квиристов!

Губы юноши дрогнули, будто, несмотря на милость императора, он все-таки хотел возражать ему, но сдержавшись, он скрестил на груди руки и едва слышно произнес:

— Благодарю, повелитель.

Солдаты префекта с обрадованным Фараксом во главе, тотчас сняли с него цепи. С этой минуты с ним начали обращаться вежливо и почтительно, и Фаракс поздравил его крепким рукопожатием.

В доме Флавия Сцевина освобожденный встретил восторженный прием: весть о милости к нему императора еще раньше долетела сюда. Сцевин лично принял его в остиуме. Раб же, с такой поспешностью донесший о неосторожном поступке Артемидора, уже за несколько дней перед тем был подарен кому-то впадшим в глубокое огорчение сенатором.

ГЛАВА II

Императорские носилки двинулись дальше среди восторженных криков толпы.

Нерон и Агриппина возвращались из дома Афрания Бурра, начальника преторианской гвардии, некоторое время страдавшего лихорадкой. По отзыву врача, болезнь была не опасна, но влиятельному префекту гвардии следовало оказывать особенное внимание.

Когда носилки и их военная свита покинули Кипрскую улицу, мысли императрицы снова обратились к больному Бурру.

Ее мучило тайное недовольство: чем более она убеждалась в народной любви к некогда обожаемому ею сыну, тем сильнее пробуждалась в ней ревность к столь опасному сопернику. Она старалась освободиться от гнета опасений, думая лишь о том, что могло бы вернуть ей обычную самоуверенность. Начальник гвардии Бурр и бывший воспитатель Нерона Сенека до сих пор с непоколебимой верностью поддерживали ее, когда дело шло о руководстве молодым императором, о ведении государственных дел в ее духе и о внушении ее сыну, что она, Агриппина, есть первое лицо империи, он же,— только второстепенное, на основании естественного закона сыновнего долга.

И если, таким образом, Бурр был ее мечом, а Люций Анней Сенека — щитом, то к чему ей тревожиться из-за ропота или одобрения народа? Что ей за дело до темных, тайных слухов, которые,— она чувствовала это так же, как чувствуют взор враждебного наблюдателя,— повсюду переходили из уст в уста? Лучшего префекта, чем Бурр, она не могла желать: он восторгался ее красотой, был признателен за каждую милостивую улыбку, ибо более всего был поглощен сознанием своего долга и заботами об общем благе. При этом он понимал, что опытная, способная женщина принесет государству больше пользы, чем едва созревший, мечтательный юноша...

— О чем ты задумалась, мать? — спросил император по-гречески. — Ты не замечаешь поклонов сенаторов...

— В самом деле? Я не видала никого...

— Нам встретился Тразеа Пэт со многими клиентами. Я кивнул ему; ты же не только не ответила на его привет, но даже как бы намеренно

скрылась за занавеской.

— Тебе так показалось,— возразила Агриппина.— Хотя такая рассеянность прощительна матерям, непрерывно занятым благом своих сыновей. Я думала о твоей будущности, и, сказать правду, она сильно заботит меня.

— Заботит? Почему? Разве у ног моих не лежит цветущий мир? Разве я не цезарь? Да, клянусь этим ясным небом, я могу разлить счастье до самых отдаленных стран, до тех пределов, где в море еще белеет римский парус! Народ мой любит меня! И сейчас, слышала ты, как из тысячи уст, подобно горному потоку, вырвался оглушительный благодарственный клик? «Да здравствует император!.. Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!» О, мать, для меня эти клики звучат подобно праздничной песни бессмертных богов!

Агриппина, вспыхнув, медленно покачала величественной головой.

— Тем не менее я озабочена, мой мальчик. Ты кажешься мне слишком мягким, слишком уступчивым для ужасной обязанности цезаря. Твой невинный взор не примечает страшного коварства, таящегося кругом в закоулках отвратительной зависти. Ты должен с ранних лет править с подобающей суровостью. Хороша народная любовь, но страх народный еще лучше и вернее. В этом, как и в других важных вопросах, доверься моей искушенности! Допусти меня действовать, когда я нахожу это благоразумным! Думаешь ли ты, что так почтительно преклоняющиеся перед твоим величием сенаторы действительно проникнуты им? О, как мало знаешь ты римских аристократов! Они думают: Нерон — цезарь только по нашей милости! И если они замыслият мятеж и тому представится случай, они свергнут тебя так же, как перед тобой свергли Клавдия!

— Клавдия? — с изумлением повторил император.

— Да, твоего отчима, моего высокого супруга. Его отравили члены верховного совета.

— Сенека рассказывал мне другое,— возразил Нерон.

Агриппина побледнела, но внешне сохраняя спокойствие, спросила:

— Это любопытно. Тогда, как тебе известно, сенат воспретил всякое расследование, и одно это...

— Расследование было бы бесполезно, так как отравителя нельзя было обличить. Неужели ты в самом деле не догадываешься?..

Императрица затрепетала.

— Нисколько не догадываюсь,— отвечала она, закрывая глаза.

— Так тебя щадили,— продолжал Нерон.— Преступление совершено личным врагом Клавдия, отпущенником Евтропием.

— Это мне известно,— прошептала Агриппина,— но я полагала, что он был лишь орудием гораздо более высоких лиц.

— Нет! Император Клавдий пригрозил привлечь его к ответственности за многочисленные кражи, и преступник поспешил предупредить своего судью. Он исчез бесследно раньше, чем его могли схватить. Но оставим этот грустный предмет. Припоминая предостережения Сенеки, я вижу, что вовсе не должен был касаться его.

Он задернул занавеску, как бы желая защитить чувствительную страдалицу от слишком яркого света. Потом, нежно положив голову на плечо матери, глубоко вздохнул и внезапно спросил ее:

— Как понравилась тебе белокурая девушка, просившая помилования отпущеннику Флавия Сцевина?

— Я не обратила на нее внимания.

— По-моему, она очаровательна! Это детски невинное лицо, эти чудные глаза! Она немного напомнила мне статую Психеи в Акеронии, но в тысячу раз красивее и живее!

— Твои слова звучат вдохновенно. К сожалению, этот тон удается тебе только там, где он не совсем уместен. Если бы ты хоть наполовину восхищался так Октавией!

— Мать, я всегда был тебе покорным сыном, и теперь я послушаюсь тебя, тем более, что и покойный супруг твой желал этого союза...

— Послушаюсь! Точно это наказание — жениться на знатнейшей и прелестнейшей девушке столицы!

— Для других, быть может, это было бы неизмеримое счастье,— сдержанно произнес император.— Я не оспариваю ее достоинств, но не умею оценить их. Октавия слишком совершенна для меня.

— Неужели ты уже дошел до этого своим умом? Тебе, конечно, нравилась бы больше цветочница из Аргилета или порхающий мотылек вроде арфистки Хлорис, которой недавно вы расточали такие преувеличенные похвалы? Вас всегда тянет туда, где не обойтись без грязи, как утверждает Энний.

— Не будем ссориться, дорогая мать! Я женюсь на Октавии, буду уважать ее и обращаться с ней сообразно ее положению. Но любить ее меня не могут принудить сами бессмертные боги. Эрос не является по

приказанию: он приходит без зова и часто как раз туда, откуда рассудок должен был бы изгнать его. Для него добродетель и высокие качества не имеют значения. Рабыням случалось возбуждать большую страсть, чем принцессам, и, как уверяет Сенека, высшее право при этом всегда принадлежит рабыне.

— Пустяки!

— Не пустяки, позволь тебе сказать! В этом случае рабыня представляет собой выражение воли природы; природа же правдивее и искреннее человеческих условностей.

— Так Сенека и этому учит тебя? — с досадливым смехом спросила Агриппина.— Прекрасно! Кажется, своей блестящей теорией он совершенно разбивает мой практический опыт.

— Ты несправедлива к нему. Подобные размышления лишь при случае он присоединяет к разъяснению трагедий. Но нет ни малейшего повода сердиться. Мое сердце свободно. Благодаря моему превосходному воспитателю, я научился воздержанию. Разгул друзей всегда служил мне лишь предметом наблюдений. Я никогда не любил и даже сомневаюсь, способен ли к любви. Тем не менее повторяю тебе, что я отнесусь к нашей Октавии со всей нежностью, на которую имеет право супруга императора. Довольна ли ты, мать?

— Не совсем. Меня огорчает это равнодушие. Октавия создана для тебя. Ее ясное, неподкупное суждение будет большой подмогой мечтателю, ежечасно рискующему забиться в философских размышлениях или в водовороте художественной фантазии. Тебе известен мой образ мыслей. Стоя — прекрасная школа, но она не должна истощать наши силы. Искусство имеет пленительную прелесть, но цезарь не должен превращаться в художника. Мечтай, но не забывай жизни! Строй театры, покровительствуй модным поэтам, бросай деньги, как овес, под ноги певцов и музыкантов, но сам не сочиняй и не декламируй! Не пой, подобно изнеженной девчонке! Предоставь струны певцам! Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн. Вот мой взгляд на предмет, и Октавия будет влиять на тебя именно в этом направлении.

Нерон улыбнулся.

— Ты мне совершенно напомнила те дни, когда еще драла меня за уши после моих шалостей в Субуре с сыновьями пекарей и харчевников!

— Уж не хочешь ли ты запретить мне порицать выращенного мной сына? — с раздражением спросила Агриппина.— Кто сделал тебя тем, что ты есть? Моя всемогущая рука возвела тебя на престол. Пока ты признаешь это, твой добрый гений будет охранять тебя. Но попробуй возмутиться, и я сомневаюсь, чтобы у тебя хватило силы удержаться на такой головокружительной высоте.

— Ты волнуешься совершенно напрасно. Возмутиться? Ты первая произнесла это отвратительное слово. Я прекрасно знаю, что никого, даже цезаря не бесчестит повиновение советам матери. Одного только мне хотелось бы, так как мы уже заговорили об этом, чтобы ты несколько смягчила и умерила форму этих советов. Вряд ли ты могла бы желать, чтобы кто-нибудь имел право посмеяться над чересчур детской покорностью Нерона.

— Я не знаю, какой повод имеешь ты...— начала императрица с гневом.

— Так, так, мать! Но я вижу, тебе тяжел наш разговор. Прекратим его. Напрасно я упомянул об этом. С течением времени все сгладится само собой.

— Но ведь ты видишь,— живо возразила она,— как я далека от личного честолюбия! Иначе разве я так хлопотала бы о твоей женитьбе? Брак этот, естественно, уменьшит мое влияние. Октавии, как императрице, принадлежит значительная роль, которая...

— Могу себе представить,— усмехнулся Нерон.— Она взором Аргуса будет наблюдать за тем, чтобы никогда и нигде не была пропущена ни одна церемония, несмотря на всю ее нелепость в моем понимании. Она будет требовать, чтобы я каждое утро молился обожаемому Ромулу, чтобы повесил себе на шею амулет с изображением волчицы и голодных близнецов, и чтобы я помогал ей верить, когда в каждом событии она будет видеть непосредственное участие Юпитера и его нежной Юноны.

— А если бы она и делала все это, что тут худого?

— Худого? — повторил император.— Ну, я не знаю, что ты думаешь о божественной истории наших предков. Ты никогда не рассказывала мне о них, даже когда я был еще мальчиком. Полагаю потому, что наши взгляды одинаковы.

— А именно?

— Я не верю народным сказкам.

— Да? А чему же ты веришь?

— Разве это можно сказать сразу? Вместе с Сенекой я верю в существование могучей первобытной силы, скрытого, всеобъемлющего и всепроницающего духа. Дух этот живет и в нас; его воля и его чувства — суть наша воля и наши чувства! Но богов таких, каким поклоняется народ, я считаю вымыслом, необходимым для того, чтобы служить основой разрушающейся нравственности нашего общества.

Агриппина долго молчала.

— Знаешь, сын мой,— сказала она наконец,— ты находишься на самом верном пути к государственному преступлению, в точно таком же роде, как преступление только что помилованного тобой Артемидора.

Нерон улыбнулся.

— Ты имеешь слишком низкое мнение о моей сметливости. Я умею отделять императора от частного лица. Перед сенатом, конечно, я остерегусь легкомысленно выражать мои философские убеждения. Там я буду говорить о многолюбимой Минерве не хуже глупейшего из глупцов. Но это несколько не помешает мне находить скучным, если и дома, как муж, я вынужден буду продолжать ту же комедию, и если даже в спальне со мной будет жрица, верящая в воля Европы! Чудесный бог был этот эллинско-римский Зевс, переплывший море с дочерью царя Агенора для того, чтобы произвести на критских лугах Миноса и Радаманта!

Агриппина пожала плечами.

— Верить в Юпитера, как в царя вселенной, и принимать за чистую монету фантазии греческого народного поэта — две разные вещи.

— Истинно верующий верует и в фантазии,— возразил Нерон.— Если бы было иначе, то художественные изображения таких глупых эпизодов считались бы оскорблением божества.

— Боюсь, ты сам стараешься во многом убедить себя,— заметила императрица.— Но впрочем, я благодарю тебя за откровенность. Увы! К чему отрицать? Я вижу, ты сын своей матери. Ты угадал, что боги и мне вполне чужды. Я верю только в один Рок, предначертавший наш жизненный путь с начала до конца. Кроме того, я верю еще и в то, что некоторым избранникам дается сила украшать этот путь цветами там, где простые смертные находят одно лишь терние. Я верю в силу духа, иногда принуждающего Рок к уступкам. Для этого необходимы ясность

и спокойствие ума, умение пользоваться всеми преимуществами и постоянство в преследовании цели. Все эти качества у тебя только в зачатке. Октавия же скоро разовьет их.

— Октавия? Тихая Октавия?

— Она тиха только в твоём присутствии. Самая заурядная девушка и та догадалась бы, что ты не разделяешь ее чувств. Она любит тебя всем сердцем, ты же, несмотря на дружелюбие к ней, еще ни разу не говорил с ней голосом любви. От этого, сын мой, она чувствует себя стесненной, почти уничтоженной. Если бы не боязнь возбудить общее внимание и не надежда победить наконец твоё равнодушие, она давно порвала бы все.

— Это было бы самое лучшее! — задумчиво прошептал Нерон.

— Это было бы твоей гибелью! — вскричала возмущенная Агриппина.— Признаюсь, что мне давно уже до муки смертной наскучила твоя ледяная холодность к Октавии. Я требую, чтобы ты переменялся. И так как тебе не удастся роль жениха, то я позабочусь поскорее соединить вас. Быть может, она больше понравится тебе, когда ты будешь обладать ею и вполне узнаешь ее.

— Мать! Ведь мне дан был еще год сроку.

— Это слишком долго!

— Но ты дала слово.

— Я беру его назад. Пожалуй, эту зиму еще ты можешь философствовать и сочинять греческие трагедии. Но как только запахнет весной...

— Тогда придет конец моей весне! — вздохнул император.— Ну, мы еще поговорим об этом!

Носилки остановились перед дворцом.

Сильно расстроенная, императрица-мать отправилась в свои покои. Нерон же тотчас забыл неприятный разговор. В колоннаде приветствовал его Сенека и пригласил прогуляться с ним до обеда. Под высокими деревьями палатинских садов мудрый учитель рассказывал своему любознательному ученику чудесные истории о новом духовном, пока еще тайном и неприметном движении, под именем назарянства распространившемся с востока на запад, и представлявшем в основах своего учения многие неожиданные точки соприкосновения с римской философией; вследствие чего оно, несомненно, заслуживало изучения такими свободными от предрассудков людьми, какими были Нерон и

Сенека.

ГЛАВА III

Прошла неделя.

В Палатинском дворце только что окончился завтрак.

Агриппина сидела на цветастом диване под деревьями и беседовала с небольшой кучкой избранников, среди которых, по обыкновению, первенствовал государственный министр и философ Люций Анней Сенека, блиставший умом и остроумием. Возле него стоял начальник гвардии Бурр, впервые после выздоровления явившийся во дворец и наслаждавшийся лицезрением императрицы, подобно тому, как служитель Митры наслаждается сиянием солнца. Тут же находился и племянник Сенеки, юный поэт Лукан, язвительные эпиграммы которого на римских аристократов послужили ему у императрицы лучшей рекомендацией, чем самые усердные похвалы дяди.

Пока Агриппина, окруженная своим двором, очаровывала тех, кто не находил эту вполне расцветшую, гордую женщину чересчур повелительной и мужественной, Нерон, позабыв серьезные увещания своего ученого воспитателя, потихоньку исчез.

В молодом императоре, противореча утонченно воспитанному и проникнутому ученостью Нерону, пробуждался иногда и другой, менее выпренный человек, который, под влиянием веселого поверенного, Софония Тигеллина, по временам брал верх над первым и делал робкие попытки практического ознакомления с жизнью и ее разнообразными наслаждениями. Софоний Тигеллин из Агригента сделался известен императору в Circus Maximus, как обладатель лучших, всегда побеждавших рысистых лошадей. Нерон пригласил его в императорский пульвинарий, поздравил, и был так восхищен пленительной любезностью блестящего наездника, что между ними скоро завязалась искренняя дружба. Так как Тигеллин прежде уже занимал место сверхштатного военного трибуна, то Нерон сделал его офицером преторианской гвардии и назначил состоять при своей особе. Сенека хотел было воспротивиться этому, потому что тридцатилетний Тигеллин слыл самым отчаянным покорителем сердец во всей столице, да и вообще внушал к себе очень мало доверия. Но Нерон так напирал на его светские и артистические таланты, что Сенека уступил и только

решил с удвоенной бдительностью присматривать за императором.

Софоний Тигеллин впервые пробудил в Нероне склонность к приключениям и, благодаря своей неистощимой изобретательности, сумел заставить его перейти от желания к действиям. Императора разбирало иногда страстное желание затеряться в толпе, не будучи узнаваемым, делать занятные наблюдения, подмечать различные сцены и случаи и отыскивать настоящее, неиспорченное человечество. Сначала выходы императора были крайне невинного свойства, и Софоний Тигеллин опасался слишком откровенно играть роль соблазнителя. Он дорого заплатил бы за это, если бы какие-нибудь слухи дошли до Сенеки. Но он твердо надеялся, что со временем все устроится само собой. То, что теперь казалось почти мальчишеством и ребячеством, должно было, несмотря на предостережения Сенеки, постепенно переродиться в безумную жажду удовольствий и наслаждений, а тогда Софоний Тигеллин становился господином положения. Стоя, вытесненная учением жизнерадостного Эпикура; философская мудрость Сенеки, превратившаяся в тяжкое бремя; он, Тигеллин, приветствуемый как желанный избавитель из этого моря принуждения и скуки: вот план, после осуществления которого до высшей власти оставался только один шаг!

Само собой разумеется, что лукавый агригентец держал про себя все свои соображения. Он притворялся слугой юношеских желаний императора, он, Тигеллин, вкусивший всего и еще мальчиком предававшийся необузданному разгулу! Нерон не понимал разницы между ходом своего развития и развитием агригентца, и верил ему. Он считал избалованного, чувственного кутилу таким же свежим, каким был сам. Он позабыл ту безотрадную жизнь, что он вел после смерти своего отца Домиция Аэнобарба до тех пор, пока второй брак Агриппины, на этот раз — с самим императором Клавдием, не сделал его известным всему Вечному городу. Кроме того, артистической натуре Нерона казалось вполне естественным влечение взора к картине, ума к мысли, а пламенному воображению к приключениям.

Солнце стояло еще высоко над пологой горой Яникула, когда Нерон и Тигеллин, окутанные легкими плащами, вступили на многолюдное Марсово поле.

Десять германцев из гвардии, для избежания всякого подозрения взятые из Палатинума, уже сидели в одной из больших таверн близ

Капитолия и пили за здоровье императора и его веселого поверенного красное сигнинское вино.

День был чудный. Складчатое покрывало, накинутое на головы Нерона и Тигеллина, как бы для защиты от солнечных лучей, скрывало их от прохожих, хотя в Риме, где каждый знатный гражданин выходил на улицу не иначе как с более или менее многочисленной свитой, ни одна душа не заподозрила бы в двух одиноких пешеходах таких высоких особ.

Император полной грудью вдыхал теплый, но при этом освежающий воздух. Над гигантскими деревьями, уже покрытыми осенними красками, сияло темно-голубое небо. Ухоженные дерновые лужайки блестели зеленью. Мраморные статуи, бесчисленные роскошные лавки, колоннады и памятники казались залитыми необычайно ясным светом. По главной аллее двигался нескончаемый ряд носилок и пешеходов. Справа и слева, по проезжим путям неслись горячие кони из Каппадокии, узкокопытные скакуны из равнины Гиспалиса и храпящие пони. Кругом на хитро переплетенных дорожках, между лавровыми и миртовыми изгородами, теснилась пестрая толпа всевозможных сословий: тут были сенаторы в тогах с пурпуровой оторочкой, окруженные многочисленными клиентами и друзьями; знатные малоазийцы в вышитых золотом химатионах; черноволосые персы в высоких тиарах и искусно расшитых шальварах; цветущие гречанки в желтых диплоидионах; эфиопы и галлы, свободные и рабы, сборщики податей и щеголи, педагоги с их питомцами, торговцы горохом и украшениями, одинаково крикливо предлагавшие свои товары, предсказатели, матросы, солдаты городской когорты и инвалиды.

— Сознаешь ли ты, дорогой цезарь,— начал Тигеллин,— все благоразумие моего совета — жить, следуя влечениям твоего духа, предоставив тяжелые государственные дела этой превосходной чете Диоскуров, Сенеке и Афранию Бурру? Ты молод, цезарь! Ты должен сначала изучить многоголовое человечество, которым будешь управлять во всех его бесчисленных формах!

— Ты прав, Тигеллин,— отвечал император.— В самом деле, что стал бы я делать без Бурра и Сенеки? А главное: что стал бы я делать без тебя? Клянусь Геркулесом, тебе удастся хоть на несколько часов освободить меня из-под ярма моих императорских обязанностей. Я — цезарь, но прежде всего я — человек и повторяю с поэтом: для всего

человеческого во мне бьется пламенное сердце!

Они достигли сверкающего мрамором пространства, где помещалась постоянная ярмарка. Всевозможные лавки и панорамы манили народ во все стороны. Площадки для метания дисков и игры в мяч сменялись харчевнями, кабачками с душистыми горами плодов. Дальше, на берегу Тибра, возвышались деревянные помосты, с которых пловцы, побившись об заклад, бросались в подернутую рябью реку. Повсюду разбросаны были тенистые деревья, высокие кустарники, яркие цветочные клумбы и статуи богов.

Цезарь и его спутник остановились перед полотняной, переплетенной серебряными шнурами палаткой египетского кудесника.

Кир — так, судя по надписи на верху палатки, звали кудесника, — только что прибыл из Александрии и уже сделался центром народного интереса.

Небрежно прислонившись ко входу, сидел длиннобородый человек, с равнодушной усмешкой смотря на массу толпившегося вокруг него народа.

Вдруг, точно озаренный внезапной мыслью, он поставил шести- или семилетнего ребенка на так называемый магический треножник, покрыл его большой, в рост человека, остроконечной персидской шапкой из бумаги, дотронулся до разукрашенной разными изображениями поверхности шапки своим жезлом из слоновой кости и затем приподнял ее.

К неопisanному изумлению зрителей, ребенок бесследно исчез.

Затем египтянин вошел в палатку, куда двое курчавых эфиопских рабов, со смешными кривляньями внесли вслед за ним треножник с бумажной шапкой.

Народ громко выражал свое одобрение. Нерон также с большим воодушевлением хлопал в ладоши.

— Славный фокус, — тихо сказал он Тигеллину. — Благовоспитанному светскому человеку удивление неприлично; но спрашиваю тебя: имеешь ли ты хоть малейшее понятие, каким образом он делает это чудо?

Тигеллин пожал плечами.

— Если земля не состоит в союзе с этим египтянином, — отвечал он, — и если она втихомолку не раскрывает свои недра, чтобы поглотить ребенка, как некогда отважного Курция, — то я не могу найти

объяснения.

На сколоченный помост вышел глашатай в желтой и красной одежде и три раза громко протрубил в свою звучную трубу.

Затем он пригласил благородных квиритов и квиритянок не медлить.

— Три сестерция! — оглушительно кричал он. — С вас берут по три сестерция для того, чтобы на целые полтора часа превратить вас в богов. Кир, мой увенчанный славой повелитель, звезда Востока, знаменитость Вавилона, Сузы и Александрии, друг азиатских царей, любимец всех народов от востока до запада приветствует вас и желает знать, предлагал ли вам кто-нибудь что-нибудь подобное за три сестерция? «Нет! — ответите вы. — Это возможно только для несравненного Кира!» Поэтому, опустите руку в складки вашей туники и добудьте жетон из слоновой кости, дающий вам право в течение полутора часов дышать воздухом Олимпа! Когда вторично зазвучит моя труба, бессмертный Кир начнет представление.

Пестрыми группами устремились зрители направо к столам, где трое рослых фризов, также в фантастических костюмах, продавали жетоны из слоновой кости. Нерон и Тигеллин последовали примеру толпы.

Давка была такая, что император скоро был оттеснен от Тигеллина.

— Друг, — по-гречески закричал Нерон через головы спешивших к столу молодых девушек, — если мы разойдемся во время представления, то по окончании встретимся около клена Агриппы.

— Хорошо! — кивнул Тигеллин.

Палатка египтянина была необыкновенно вместительна. Сквозь продольное отверстие сверху в ширину триклиниума сильный свет падал на великолепно убранное помещение. Пол устлан был дроковыми циновками. С перевитых серебром шнуров спускались ковры, которые издали можно было принять за сирийские. Посредине возвышения, отделенного от публики бронзовыми цепями, стоял большой алтарь. Висевший позади него тяжелый занавес из тарентинской голубой шерсти медленно приподнялся, и из-за широких складок торжественно показался маг, между тем как снаружи снова затрубил глашатай.

Нерон — теперь уже намеренно — все дальше отходил от Тигеллина. Он встал впереди, довольно близко к бронзовым цепям и с ожиданием смотрел в блестящие глаза гордого египтянина.

Первое, что маг показал своей публике, был фокус, уже прославившийся в Александрии и называемый «Черная Эвридика». Он

дал это имя из известного греческого предания черной голубице, которую он убивал и снова возвращал к жизни.

Пока он, на глазах толпы, разрывал на части испуганно бившуюся птицу, около императора раздалось тихое восклицание.

Он обернулся.

Позади него стояла та самая белокурая красавица, которая просила его за Артемидора. Странно взволнованному юноше показалось, что он только сейчас увидел всю прелесть этого розового личика. Чудные, полуоткрытые губы, за которыми соблазнительно блестели белые зубки, дышали невинностью, страстью и вместе с тем радостью; выражение изумления и жалость смешивались в ее прелестных детских чертах.

А ее голос!..

В ушах Нерона еще звучало ее восклицание, и им овладело страстное желание заставить ее говорить, несмотря на все чудеса Египта и Вавилона. Тихонько и незаметно подался он назад. Место его было тотчас же занято другим. Он стоял теперь рядом с девушкой и с трепетом прошептал:

— Ты меня знаешь?

— Да, повелитель! — так же тихо отвечала она.

— Не выдавай же меня!

— Как повелишь.

— Ты одна?

Мгновение она колебалась.

— Одна, повелитель, — робко шепнула она.

— Как тебя зовут? — спросил цезарь.

— Мое имя Актэ.

— Родители твои живы? К какому сословию принадлежишь ты?

— Мои родители умерли. Отец был уроженец Медиолана, мать была гречанка. Оба были несвободные по рождению.

— Невозможно! Ты — рабыня?

— Отпущенница Никодима...

— Того, что иногда занимается философией с Сенекой?

— Того самого.

Среди зрителей раздался оглушительный шум.

— Отлично! Превосходно! — ликовала воодушевленная толпа. — Да здравствует Кир, любимец богов!

Удивительный фокус «Эвридика» окончился, но Нерон не видел его.

Он стоял неподвижно, как очарованный, в немом созерцании поразительной красоты девушки. Какая из всех знатных римлянок могла сравниться с ней? Ни одна, ни даже сама Поппея Сабина, молодая жена Ото, по которой весь Рим сходил с ума! А Октавия, будущая императрица! Да, с точки зрения греческого скульптора, Октавия была, быть может, совершеннее, она обладала царственной размеренностью движений, но как холодно, напыщенно и безжизненно было все это в сравнении с распускающейся, благоухающей красотой этой рабыни по рождению!

— Невозможно! — повторил цезарь.— Как называешь ты себя, Актэ?

— Отпущенницей.

— Богиня,— прошептал Нерон, страстно сжимая ее руку.— Дитя, ты не знаешь, как ты бессмертно хороша!

— Повелитель, ты смущаешь меня... Я знаю, что сильные мира любят издеваться над бедными и беззащитными. Но я не могу и не смею думать, чтобы ты, благородный освободитель Артемидора, хотел насмеяться надо мной...

— Насмеяться над тобой? Я хотел бы на руках понести тебя, как сестру. Я завидую Артемидору, как мертвый живущему! Если тебе угодно, милое создание, отойдем отсюда в сторону. Там, у входа, на нас не будут смотреть, а мне нужно так много сказать тебе!

Она молча последовала за ним.

— Право, эта мысль не покидает меня,— душевно продолжал он.— Артемидор! Если бы можно было поменяться с ним!

— Я все-таки думаю, что ты смеешься надо мной! Ты, всемогущий повелитель, и Артемидор! Какая непреодолимая бездна!

— Конечно, но только счастье на его стороне! Артемидор имеет чудное право целовать твой лоб, заключать тебя в объятия... Как доволен и счастлив должен он быть, когда твои розовые уста прикасаются к его губам!

— Я не целуюсь с Артемидором,— твердо сказала девушка.

— Как? Не целуешь брата?

— Он не брат мне, с твоего позволения. Клавдий Нерон упустил из вида, что Артемидор уроженец далекого Дамаска, а отец Актэ — италиец.

— Но ты просила помилования брату...

— Да, повелитель — в смысле назарянского учения. По этому учению, все люди — мои братья.

— Так ты схитрила со мной!

— Право, нет! Спроси одного из наших, обманываю ли я тебя! Мы, назаряне, и в ежедневных сношениях называем друг друга братьями и сестрами, так как мы не признаем никаких различий, в глазах народа разделяющих нас. Мы даем это имя одинаково рабу и благородному, ибо мы все люди по рождению, рабами же, благородными и сенаторами делает нас или случай, или же насилие и несправедливость прежних поколений...

Цезарь блестящими глазами смотрел в ее прелестное лицо.

— Девушка,— произнес он, одурманенный ее обворожительной женственностью,— ты весенний цветок, а говоришь с мудростью пифагорейца. То, что ты сказала, не больше и не меньше, как самая суть философии, внушенной мне Сенекой. Ты глубоко пристыжаешь меня. Я считаю себя со своими воззрениями стоящим выше избраннейших и вдруг нахожу едва расцветающую девушку, чувствующую то же самое, что и я, но выражающую эти чувства яснее и совершеннее, чем мой уважаемый учитель! Или это все сон? Или Платон с Сократом и Зеноном слились воедино, чтобы снова воплотиться в этом юном существе?

При последних вдохновенных словах императора лицо его озарилось внутренним огнем, облагородившим его черты и движения. Большие глаза его впились в темно-голубые глаза Актэ. Полные, едва покрытые молодым пушком губы задрожали так красноречиво, что сама неопытность поняла бы волновавшее его чувство. Это было бурное, пламенное признание первой безумной любви. Но глаза, следившие за императором из толпы, конечно, нельзя было назвать неопытными; лукавый Софоний Тигеллин следил за сценой между императором и краснеющей девушкой с удовольствием учителя, видящего, как всходят посеянные им семена. Клавдий Нерон был теперь близок к тому, чтобы признать ослом заносчивого философа Сенеку и принять за правила жизни то, что доселе составляло лишь исключение.

Малютка с волнистыми белокурыми волосами и созданным для поцелуев ротиком была прелестна. Если бы Нерон так неожиданно не попался на удочку, быть может, сам Софоний Тигеллин не отказался бы... Теперь, конечно, об этом нечего и думать, но в сущности это все

равно, так как Софоний Тигеллин мог выбирать среди красивейших и знатнейших, ему стоило лишь протянуть руку, и даже сама Поппея Сабина готова была поднести некое украшение своему супругу... Да, да, в этом блестящий Тигеллин не сомневался и намерен был вскоре заняться этим. Теперь же он был доволен, весьма доволен походом на Марсово поле; против всякого ожидания, Нерон отлично играл ему на руку.

Другая пара глаз, незаметно следивших за императором и его молодой собеседницей, принадлежала Никодиму. Его шпионы и лазутчики донесли ему, каким образом Тигеллин и Нерон намеревались провести время между завтраком и обедом. Он тотчас же поспешил с Актэ на Марсово поле и, увидев императора, быстро отошел в сторону, предоставляя все остальное сметливости молодой девушки. Актэ, прибывшая в Рим лишь несколько недель тому назад (до этих пор она ходила за больной родственницей Никодима в Остии) в кругу назарян стала уже почти знаменита чудесной силой убеждения и успешностью своих попыток в обращении язычников; обращенные ею последователи Христа считались десятками. И неутомимый, пламенный Никодим решил достигнуть намеченной им великой цели уже не только через посредство Сенеки, но гораздо более прямым путем, сведя императора с увлекательно красноречивой проповедницей нового учения. Никодим, бывший глава крупного торгового дома, познакомился с религией назарян во время одного из своих путешествий на восток. Смерть любимого сына укрепила в его жаждавшем утешения сердце убеждение в божественной истине христианства, и когда эта вера победоносно извлекла его из бездны отчаяния после тяжелой потери, он начал всем сердцем стремиться к тому, чтобы спасительное учение восторжествовало над заблуждениями государственной религии Рима. Хорошо знакомый с философией Сенеки, которому в былые времена он оказывал значительные денежные услуги, Никодим с радостью видел внутреннюю связь между учением Иисуса и полным презрением к миру стоицизмом; на этом-то и основывалась его безумно смелая надежда обратить питомца Сенеки в последователя Сына назаретского плотника.

Актэ казалась ему созданной для того, чтобы быть его орудием, не только по ее горячему, сердечному красноречию, но и потому, что она — хотя он сам себе не хотел сознаться в этом, — была воплощением безукоризненной красоты и женственности. Она повлияет на ум Нерона,

быть может, даже на его сердце, но что за беда, если на этот раз, в виде исключения всеспасительная вера проникнет на крыльях земной, скоропреходящей любви? Актэ ведь знает свой долг... В последнюю минуту она найдет в себе силу спасти свою добродетель от бурного потока страсти.

Так рассуждал Никодим...

В глубине же сердца и почти безотчетно для него самого шевелилась мысль: «А если бы и погибла одна эта овца, то гибель ее послужит во спасение всему стаду».

Безумец забывал, что из худа и позора никогда не выходит добра; он был не в состоянии беспристрастно оценивать ситуацию.

С почти демонической радостью смотрел он теперь на быстро возраставшую приязнь между его отпущенницей и Клавдием Нероном. Все это выходило удачнее, чем он смел когда-либо надеяться. На лице императора не было и следа легкомысленной шутливости, обыкновенно отражающей завязку известных отношений с красавицами низшего сословия; напротив, черты его скорее выражали почтительное сочувствие и почти робкое обожание. Если Актэ сумеет умно повести дело, то сердце этого богато одаренного природой юноши в ее руках уподобится мягкому воску.

Беседа между императором и отпущенницей продолжалась. Вдруг Нерон, не в силах преодолеть своих чувств, схватил за руки девушку и страстно прижал их к груди.

— Актэ,— сказал он,— ты уничтожила меня сладкой музыкой твоих речей, божественной прелестью и умом твоих синих глаз... То, что ты очертила лишь несколькими словами, пробуждает во мне могучие, необъятные образы! Будем друзьями, Актэ, настоящими, сердечными друзьями! Теперь только понял я стих юного Лукана, где он говорит, что всякое откровение исходит от женщины. Ты, Актэ, обладаешь чистотой и силой воли, у меня же есть власть. Мне стоит лишь поднять руку, и все в мире изменится, подобно тому, как изменяются эти игрушки под волшебным жезлом Кира. Если мы мужественно будем поддерживать друг друга... О, как ты прекрасна, как божественна и очаровательна!

И он со страстной нежностью поцеловал кончики пальцев краснеющей Актэ.

Она старалась высвободить свои руки, и он выпустил их, уступая ее

молящему взору скорее, чем ее усилиям.

— Приди ко мне в Палатинум,— продолжал Нерон.— Вот этот перстень откроет перед тобой все двери ко мне во всякое время. Сенека должен узнать тебя. Мне кажется, что ты глубже постигаешь великие цели назарянства, нежели Никодим. Согласна ты, Актэ?

Осторожно сняв перстень с печатью, он подал его девушке, как жених подает розу невесте.

— Благодарю, повелитель,— смущенно произнесла Актэ,— но внутренний голос говорит мне, что я не должна принимать твой перстень и также, что мне неприлично переступить порог дворца.

— Пустяки! Если этого требует сам цезарь! А, ты боишься за твое доброе имя? Конечно, коварная злоба тем скорее бросается на свою жертву, чем она милее и прекраснее. Так приходи в сопровождении Никодима...

— Может быть, повелитель!

— Отчего ты не скажешь просто: да? Разве это не похоже на предопределение, что мы снова встретились здесь после того, как я впервые увидел тебя несколько дней тому назад, когда ты уже возбудила симпатию в моей душе?

Актэ сильно покраснела и как бы со стыдом, молча опустила глаза.

— Так ты придешь? — повторил император.

— Я посмотрю, могу ли я это сделать.

— Как ты пылаешь, Актэ! Или ты думаешь, что я хочу обидеть тебя? Ты будешь моей сестрой, моей любимой сестрой, иначе я умру от тоски. Понимаешь ли ты? Нерон протягивает тебе братскую руку, Нерон, чьей благосклонности униженно заискивают цари!

— О, я знаю цену этой благосклонности! — звучным, сильным и убежденно-радостным голосом отвечала девушка.

Нерон был в опьянении.

— Так решено, дорогая, прелестная! Как удачно придумал Тигеллин привести меня на Марсово поле как раз теперь! Это стоит всех сокровищ империи! Ведь он, глупец, человек минуты, враг мысли, но тем не менее он дал мне больше, чем Сенека со всей его мировой мудростью!

Оглушительные возгласы одобрения и вслед за тем громкий звук труб возвестили конец представления.

— Повелитель,— шепнула Актэ, заметив что Нерон собирается

следовать за ней к выходу,— если ты желаешь мне добра, то оставь меня. Меня могут заметить, и ты не подозреваешь, какое жестокое и бессердечное осуждение может пасть на меня.

— Хорошо, Актэ! Видишь, я уже покорен тебе почти как раб. Но ты возьмешь перстень? Я прошу тебя от всего сердца!

— Хорошо...— с волнением отвечала она.

Тяжелый золотой перстень скользнул на ее средний палец и пришелся впору, точно был сделан нарочно для нее. Странное чувство овладело ею: это было наполовину радость, наполовину грусть и предчувствие грядущей беды. Ей казалось, что на нее надета цепь, которую уже не разорвет никакая земная сила.

ГЛАВА IV

Поспешно протиснувшись сквозь толпу, Актэ вышла из палатки, не замеченная Никодимом. Ее влекло непреодолимое стремление остаться в одиночестве под впечатлением удивительной встречи.

При мысли о том, как ее господин будет расспрашивать ее, как начнет со всех сторон истолковывать каждое слово, сказанное императором, ею овладевал несказанный страх. Ей казалось, что чужая, бесчувственная рука будет рыться в ее драгоценнейших сокровищах. Прежде чем это случится, она хотела хоть короткое время быть их единственной обладательницей, хотела без помехи насладиться только что пережитым и собраться с мыслями.

Почти полчаса ходила она по отдаленным окраинам Марсова поля, с сомнением поглядывая на перстень, надетый на ее палец. Все это казалось ей сном.

На ее руке перстень с императорской печатью, данный ей самим всемогущим цезарем! Не походило ли это на сказку древних пелазгов? В те далекие времена, облеченные эфирным светом Уранионы спускались к дочерям человеческим и приносили небесные громовые стрелы к ногам пастушек Эты. Но здесь, в этой действительности шумного Рима, где повсюду раздавалось вовсе не сказочное бряцанье преторианского оружия, здесь, на берегу Тибра, где все дышало такой новой, полнокровной жизнью — это было непостижимо!

Взор ее устремился в сторону Вечного города...

Несмотря на прозрачность октябрьского дня, южный горизонт подернут был красноватой дымкой. Вдали виднелись залитые солнцем храмы Капитолия; справа от него высились башни Палатинума, резиденция цветущего юноши, властителя всего этого необозримого моря построек, всей Италии, всего мира,— властителя, так горячо, любовно, безгранично доверчиво говорившего с ней, рожденной рабыней!..

Она вздохнула.

«Если бы он был одним из этих жалких рабов, таскающих камни для строительства! — печально думала она.— Я отдала бы все, что имею, за его выкуп; я работала бы целые годы, если бы имущества моего было

мало для этого, а потом...»

Она закрыла глаза.

Тихий голос внезапно произнес ее имя.

Перед ней стоял человек лет около сорока, в одежде вельможи, с видимым усилием старавшийся придать ласковое и приветливое выражение своим сверкающим серым глазам.

— Актэ,— сказал он,— ты бродишь одна, подобно тоскующей Деметре. Смее ли новый друг предложить тебе свое сопровождение?

— Господин, я не знаю тебя.

— Этому легко помочь. Мое имя, полагаю, окажется тебе менее чуждым, чем мое лицо. Я Паллас, доверенный императрицы.

— Паллас! — вскричала она с испугом, точно совесть ее была не совсем чиста.— Имя это всем известно и... страшно.

— Оно должно быть страшно только тем, кто не оказывает моей повелительнице должного почтения, не признает мудрости ее действий, противится ее славным целям или каким-нибудь иным способом грешит против божественной императрицы. Я возвысился милостью Агриппины; благодаря ей я достиг своего настоящего положения, но признательность и верность я все-таки считаю высшими добродетелями!

В глубокой задумчивости смотревшая на перстень императора, Актэ внезапно откинула со лба свои чудные волосы и почти смело спросила:

— Откуда знаешь ты меня, и что нужно тебе?

— Я видел тебя недавно, когда цезарь помиловал отпущенника Флавия Сцевина. Я был во главе императорской свиты.

— Да? Я не заметила тебя.

— Это не очень лестно. Но ты была так поглощена своими мыслями, что я прощаю твою невнимательность. Быть может, мне понравилось именно твое увлечение. Ты показалась мне олицетворением сладкого спокойствия посреди вечно мятущейся столицы. Короче: ты очаровала меня...

— К чему говоришь ты мне это?

— Станный вопрос! К чему амфоре говорят о жажде? Я люблю тебя, Актэ, и молю богов, чтобы они расположили ко мне твое сердце.

— Мольбы твои напрасны,— отвечала девушка.— Я не могу любить. На такой вздор у меня нет ни склонности, ни умения.

— Ты называешь вздором блаженнейшую и единственную отраду

жизни? Актэ, Актэ, что говоришь ты? Ты не можешь любить с твоими мечтательно-страстными глазами и прелестными устами, созданными для сладких поцелуев? Обманывай кого-нибудь поглупее меня!

— Я не могу любить,— печально повторила она.— А если бы и могла, то неужели ты думаешь, что я согласилась бы опозорить себя?

— Опозорить? Разве любовь Палласа позорна?

— Для тысячи других, наверное, нет. Поверь, несмотря на мою молодость, я знаю свет и его порочность. Я знаю, как думают римляне о девушках-отпущенницах, знаю, что имя это почти равнозначно разврату и легкомыслию... Многие, очень многие почли бы себя счастливыми разделить свой грех с тобой; ты могуществен и богат, и на возлюбленной Палласа должен отразиться блеск правящего миром добра. Я же презираю подобное возвышение, которое в действительности есть только позор, презираю потому, что прежде всего отвращение к таким поступкам лежит у меня в крови, а к тому же Иисус Христос Назарянин, которому я предана всем сердцем, завещал нам добродетель и чистоту мыслей в жизни.

Паллас помолчал.

— Ты не сказала мне ничего нового, Актэ,— медленно произнес он наконец.— Можно было сразу догадаться, что девушка, просящая помилования назарянину, сама назарянка. Никодим подтвердил мне это. Мне известно также твое отношение к нему; его я знал, встречаясь с ним иногда у Сенеки... Итак, твое гордое возражение меня несколько не удивляет, но в то же время и не убеждает.

— Почему?

— Потому что ты отвергаешь то, чего не испытала, Актэ! Я вижу тебя в третий раз. Третьего дня, в доме Никодима, я имел полную возможность наблюдать за тобой... Невидимый тобой, я стоял в таблинуме с седоволосым чудаком. Подобно молодой лани двигалась ты по каменным плитам; ты говорила с рабами и для каждого находила приветливое слово; ты поливала осенние розы, кормила голубей зерном и хлебными крошками; один луч присущего твоей душе света ты уделила даже на долю старой больной собаки, лежавшей у бассейна и при виде тебя завилявшей хвостом. Тогда я решил при первом же случае сказать тебе, как я завидую животному, находящемуся в блаженной близости от тебя; сказать тебе... Но что с тобой?

— Ничего, ничего! — с трудом произнесла Актэ.— Пустая мысль...

воспоминание...— Она закрыла глаза рукой. Теперь, когда она поняла, что Паллас говорил ей об истинной, настоящей любви, вдруг с поразительной ясностью и живостью перед ней возник образ цезаря в ту минуту, когда он в первый раз восхищался ее красотой; и вместе с этим образом в душе ее поднялась такая сладко-мучительная боль, что она едва удержалась на ногах. Она скоро оправилась, и Паллас с возрастающим жаром продолжал:

— Надеюсь, не мои слова испугали тебя? Или я слишком увлекся? Но в моем возрасте уже не тратят на ухаживанье недели и месяцы. Говорю прямо: Паллас, доверенный императрицы, страшный Паллас, как ты сама назвала его,— хочет иметь тебя своей женой. Слышишь, Актэ? Законной женой, а не любовницей! Что ты ответишь ему?

— Что я благодарю его,— опустив глаза, прошептала она,— и прошу простить меня, если я все-таки отвечу — нет.

— Ты говоришь в лихорадочном жару!

— Нисколько, господин! Именно ясность моих мыслей и придает мне мужество отказаться от этой чести. Такая девушка, как я, не подходит знатному вельможе...

Он покачал головой и положил правую руку на плечо Актэ, устремив сверкающий взор на ее дрожавшую от волнения стройную фигуру.

— Должен ли я сказать тебе, что ты, несомненно, подходишь мне? Должен ли я унизиться перед тобой? Разве тебе не известно, что я сам рожден несвободным? Антония, мать императора Клавдия, много лет тому назад подарила мне свободу, и собственными усилиями я занял положение, которому теперь завидует весь Рим: поверенного божественной Агриппины.

— Да, я знаю,— возразила девушка.— Тем не менее нас разделяет бездна. Какую жалкую роль стала бы я играть в блестящем обществе Палатинума? При одной этой мысли у меня кружится голова.

— Ты не можешь бояться сравнения ни с кем.

— Нет, нет, мне страшно подумать об этом. И к тому же, господин, ведь я уже сказала тебе, что у меня есть душа и нет сердца. Я тебя не люблю, а сделаться твоей женой без любви — значило бы обмануть тебя.

Паллас нахмурился. Он не ожидал такого прямого отказа и гордость его была уязвлена.

— Девушка,— сказал он, помолчав,— ты поступаешь, как безумная. Я держал в моих объятиях дочерей сенаторов, не особенно церемонясь, а ты отказываешься разделить мою жизнь и положение как моя законная жена? Твое ребяческое упорство так же безумно, как моя неслыханная решимость жениться на тебе. Но я не могу изменить этого: ты очаровала меня с первого взгляда, и теперь, когда вместо того, чтобы отдаться мне со слезами благодарности, ты отвергаешь меня, я еще яснее чувствую, что не в силах отказаться от тебя. Подумай, Актэ! Поверенный императрицы ведь не первый встречный, и тот, кто не умеет схватить свое счастье, когда оно само дается в руки и, быть может, всю жизнь будет оплакивать это легкомысленно пропущенное мгновение. Итак, пока прощай! На большой дороге меня ждет моя свита.

И многозначительно склонив голову, он исчез за миртовой изгородью. Между тем уже вечерело. Час ужина давно миновал. Массы оживленно двигавшихся по широким аллеям носилок и пешеходов исчезли и наступившая тишина, заменившая этот шум, ощущалась еще явственнее при горячем, красно-золотистом вечернем освещении.

Актэ незаметно дошла до Элийского моста; пройдя по выложенному мрамором боковому настилу, она достигла середины моста и остановилась, опершись о перила. Отсюда, с вершины главной арки, ежегодно бросались в воду сотни людей, которым наскучила жизнь, потерявшая для них всякий смысл или изнемогших в непрерывной борьбе с судьбой... Внизу со страшно-заманчивым рокотом шумели и пенились желтоватые волны, вздымались и падали, подобно мерному дыханию живого существа. Одна за другой вырывались они из-под квадратных опор моста и, постепенно успокаиваясь, катились дальше, сливаясь наконец в однообразной глади широкой реки.

— Как это утешает! — прошептала Актэ, подпирая лоб ладонью.— Волны приходят и уходят, и даже самые бурные из них все-таки сглаживаются и мирно текут в море!

Долго в раздумье смотрела она на одно место, где около устоев выше всего взлетали пенистые, крутящиеся струи, пока наконец ей почудилось, что она и мост бесшумно и гладко поплыли назад. Это было невыразимо сладкое, дремотное ощущение, так же благодатно освежившее ее потрясенную недавними событиями душу, как глубокий сон освежает утомленное тело. Солнце уже зашло, когда Актэ вспомнила о своих обязанностях и направилась домой.

Повернув в юго-восточном направлении, минут через сорок она достигла Vicus Longus, «Длинной улицы», отделявшей Виминальский холм от Квиринальского.

На едва приметном косогоре первого из этих холмов возвышались красивые постройки дома Люция Никодима, который нисходя в четвертом поколении от лакедемонян, по своим нравам и обычаям был чистокровным римлянином.

Актэ боялась, что пылкий патрон встретит ее укорами за продолжительное отсутствие, так как еще недавно, верный священной суровости назарян, Никодим выговаривал ей за то, что она в сумерки стояла со служанкой в остиуме. К тому же нетерпеливое ожидание могло также раздражить его.

Но вместо этого при виде ее Никодим просиял. Он дожидался ее в атриуме и, встретив на пороге, провел мимо таблинума в перистиль. В столовой горели масляные лампы. Уже часа два тому назад окончился обед семьи, состоявшей из хозяина дома, его жены, дочери и семи бывших рабов и рабынь, освобожденных своим господином: учение Спасителя так резко противоречило идее рабства, что даже человек такого устойчивого характера, как Никодим, не осмеливался защищать учрежденного государством невольничества. К тому же все домочадцы были обращены и крещены им самим и уже поэтому он не мог оставить на них цепи, духовно разбитые таинством.

— Ты должна быть голодна,— с почти нежной заботливостью сказал он.— Вот идет Лесбия с блюдами. Она оставила для тебя горячее кушанье, Актэ. Ешь, пей, а потом рассказывай.

Актэ опустилась на край застольной софы, на которой Никодим всегда возлежал за обедом.

— Ешь, ешь! — ласково повторял он.— Ты, наверное, совсем измождена. И руки твои холодны, как лед. Вот чудесное везувианское вино... Я нарочно для тебя достал его из погреба... Оно оживит тебя, Актэ. У тебя такой утомленный вид.

— Действительно, я утомлена,— сказала она, поспешно поднося кубок к губам.— Прости, что я не тотчас вернулась с тобой из палатки египтянина...

— Напротив,— усмехнулся Никодим,— я благодарен тебе за то, что ты усердно и решительно принялась за предстоящее тебе святое дело. Я видел, как цезарь относился к тебе. Если ты будешь благоразумна, то

Никодим и вместе с ним Божественный Галилеянин победят раньше, чем наступит второе полнолуние.

Все еще с трудом владевшая собой, Актэ печально покачала головой.

— Нет, господин! — глухо произнесла она.— Не сердись на меня, ради Господа Иисуса, но это невозможно...

— Что невозможно?

— Чтобы я... Чтобы я обратила императора Нерона.

— Ты уже обратила его, если только умело воспользуешься тем, что судьба дает тебе в руки. Он был олицетворением доброты и милости...

— Именно поэтому. Он даже пожал мне руки и предложил быть его дорогой сестрой...

— Что такое?

— Да, это были его собственные слова. Он также приглашал меня в Палатинский дворец и то, что я ему говорила, кажется ему точным отголоском его задушевных мыслей...

— Но ведь это поразительное торжество, Актэ! Это значит покорение Рима, водружение креста Господня на стенах Капитолия...

— Это конец наших радостных надежд,— прошептала Актэ.— Господин, я должна рассеять твое последнее сомнение: я не увижу больше императора!

— Ты помешалась, девушка?

— Слава богу, нет! Давно уже я не находила в душе моей такой ясности, как теперь. Я буду откровенна и прямодушна, так как я многим обязана тебе. Ты не должен думать, что Актэ из одного лишь упрямства разрушает то, что ты задумал так умно и так благородно. Я... я...

Она запнулась. Лицо ее вспыхнуло жгучим румянцем стыда, между тем как Никодим смотрел на нее бледный и с раскрытым ртом.

— Я чувствую,— сказала она наконец,— что не могу выполнить назначенной мне тобой роли, не потеряв себя. Вы все утверждаете, что я умею убеждать лучше, чем наши красноречивейшие пресвитеры... Не знаю, ошибаетесь вы или нет, но мне ясно одно, что цезарь смотрел на меня иными глазами, чем кто-либо из всех обращенных мной в христианство...

— Ну, что же следует из этого?

— Просто то, что он... Что он полюбил бы меня...

— Тем лучше!

— Нет, не лучше, потому что и я любила бы его. Да я его уже люблю, господин!

— Скоро же это сладилось! — злобно засмеялся тощий Никодим.— Но к чему мне твои глупые признания? Люби его сколько угодно, но исполняй свой долг распространения нашей божественной веры!

— На это у меня не хватает силы.

— Презренная! — вскричал Никодим.— Не завещал ли нам Христос отречься от всего мирского ради вечного спасения? Не повелевает ли Он умерщвлять нашу плоть и обуздывать греховные побуждения, отвращающие нас от стези праведности и добродетели?

— К этому-то я и стремлюсь,— возразила Актэ.— Если бы я хотела повиноваться моим желанием, то теперь же пошла бы к нему... Быть с ним, в его объятиях, на его груди, полной таких возвышенных, прекрасных и благородных чувств,— вот к чему влечет меня моя греховная, попирающая всякие обязанности, воля. Но, так как последовав этому влечению, я погрузилась бы в бездну позора и унижения, то решение мое непоколебимо. Никакая земная сила не заставит меня вновь увидеться с человеком, близость которого грозит мне гибелью.

— Но если он сам прикажет тебе прийти?

— Скорее я умру, чем послушаюсь его. Цезарь властен над многим, но он не может помешать умереть тому, у кого на это хватит мужества.

Никодим сидел ошеломленный. Потом, внезапно протянув дрожавшие руки, он с рыданием воскликнул:

— Актэ! Во имя Спасителя, пролившего за нас Свою кровь, не упорствуй! Не разрушай идеи, величайшей со времени смерти Христа! Не разбивай будущности назарянства и его дивной, божественной, спасительной деятельности!

— Мир не может спастись грехом!

— Актэ! Могилей твоей матери, умершей в блаженном веровании в милость Господню...

— Могилей моей матери! — воскликнула тронутая девушка.— Твое упоминание об этой святой превращает мою твердость в непоколебимость!

— Так ты не хочешь? Несмотря на мои просьбы и на мои слезы?

— Нет, тысячу раз нет!

Лицо Никодима исказилось. С губ его готово было сорваться

ужасное проклятье... Тонкие пальцы его сжимались, как когти хищной птицы, в груди kloкотало, покрасневшие глаза метали полные демонической ненависти взгляды.

Но он мгновенно овладел собой и, еще дрожа, налил в чашу вино и выпил его сразу, как человек, умирающий от жажды.

— Ты не хочешь,— беззвучно сказал он,— но цезарь хочет... и Никодим также... пусть же мелкий камешек попробует задержать низвергающийся в долину великий обвал. Ты знаешь меня. Ступай спать, бедная дурочка! Завтра, быть может, к тебе вернется рассудок!

Он вышел из триклиниума; шаги его звучно отдались в колоннаде; дверь тихо скрипнула, и все замолкло.

Удрученная Актэ осталась одна в наполненной ароматом вина столовой. Угрозы ее господина с убийственной ясностью звучали в ее мозгу. Да, она его знала. Несмотря на всю его доброту и справедливость, он был способен на всякое насилие, если встречал противодействие тому, что он считал целесообразным и необходимым. Она сидела и думала. Все тяжелее и тяжелее давило ее предчувствие близкой беды.

Вдруг ей почудилось, что из глубины тускло освещенной столовой какой-то голос говорил ей: «Беги, беги, или ты погибла!»

Безумный страх овладел ею. Цезарь хочет... Никодим хочет... Но она не хочет и потому должна бежать... Одно только бегство могло спасти ее от греха, от борьбы с собственной слабостью и от злобы Никодима.

Тихо, как преступница, прокралась она в свою спальню. Дрожа всем телом и торопясь, точно спасение ее зависело от каждой тающей минуты, начала она собирать самые необходимые вещи. Золотую цепь, наследие матери, она надела на шею как талисман, накинула на себя плотную верхнюю одежду, затушила лампу и выскользнула из дома.

На утро испуганные домашние тщетно повсюду искали и звали Актэ. Постель ее оказалась несмятой. На двери была приколотая полоска пергамента с короткой надписью: «Прощайте все!» Ни по малейшему следу невозможно было угадать, куда скрылась девушка. Никодим, терзаемый сомнением и угрызениями совести, молчал о происшествиях последних дней, и ничего не подозревавшая семья его терялась в догадках, отыскивая причины этого неожиданного бегства. Потеря общей любимицы была для всех большим горем. Ее невинная веселость